

Дачная гора

Рассказ

ЛЕЗВИЕ ВЫБРАЛО место. Колбасный батон напрягся. Оболочка хрустнула. Ядрышки белого жира подались и сдулись, осев пеной на ровном крае срезанного ломтика. Нож прошел мягко и щелкнул о разделочную доску. Старую, всю в ровных вкусных рубцах. Запахло копченым мясом, и прозрачная кожура заструилась колесиком по кончику. Прямые линии и идеальные круги. На кухне.

Это все, что осталось отцу. На белых овалах хлеба. Я заворачиваю пакет.

— Не мало нам одной колбасы?

— А там бабушка куличи привозила. Вон там, в тазу... нет, в эмалированном. Да. Вот. Нет. Побольше уж возьми. Вот его и с чаем можно.

Кратер шахтерского термоса на столе курит свежей мятой. Мы с отцом теперь в квартире одни. Только бесцветный пепел засушенных трав на газетах в комнатах напоминает о хозяйке. На сломанном черно-белом телевизоре расцвел срезанным цветом зверобой. Мать уехала.

Под старым бордовым пальто остывают трехлитровые огурцы. В рассоле и укропе. Это все здесь, в большой комнате.

Мы собираемся на кухне. Здесь встает солнце. Жалкая, обесцвеченная бликами утра лампочка без абажура и стены в сколах старого кафеля. Еще вчера на этой плите кипела кастрюля, над ней, на железных решеточках, потели наполненные паром пузыри банок, а в тазу с водой плавали скользкие огурцы, — на полу горькие попки и пучки зелени. Желтый, с точками перца, рассол обдавал втиснутые в стекло зозули. И если в тазу, уже без попок они еще хоть как-то цеплялись за жизнь и шевелили красными жабрами, то в рассоле сразу же обмякали и раздувались. Широкие овальные поры впитывали в себя переный отвар и затвердевали. Мать уехала.

В квартире все переползает в другое и селится в третьем. Никогда уже не найти ее первого образа. Когда мы въехали, мне было уже много. А ей еще больше. Какого цвета были обои, где были комнаты, что в них было. Только взвесь пыли в луче была здесь всегда, возможно, еще до стен и ломтиков сырокопченки. Не могу выйти из одной минуты первого впечатления моего детства. Я всегда в ней. Как и комната. Вся история ее не больше одной минуты, кото-

рая длится и сейчас. И еще долго не кончится. Пусть трижды остынет мятный завар. Пусть колбаса засохнет и свернется в хрустящие трубочки. Еще до нас здесь остывала каша, разливалась по граненкам водка и ссыхались мышинные корки. Прошлое квартиры ушло, его и не было совсем. Но сама комната-квартира осталась и никогда не была другой.

Где они? Где Родченко, его жена и дети... Только вечное становление рисунка советских обоев, перешедшего в мяту и тысячелистник на линолеуме. А мать еще говорит — пятнадцать лет как. И минуты не прошло. Только взвесь в луче... Только темнота, перетекшая в утро.

А кому нужен Родченко? А кому буду нужен я, знавший о нем? Минута пользуется тем, что память в этом городе слишком большое богатство, никому не по карману. Мой залог и страховый билет — память о бедном шахтере и его жене — кассирше. Только так я еще могу ходить по этому полу, есть с отцом кулича и отличать себя от пучка редиски в раковине.

* * *

— Мне ее и не надо!

— Куда?

— А нужна вам она, эта, как ее, вишня?

— Это чего?

— Вот и я ей говорю, к чему. Зачем, ей говорю, теперь...

— Это кому?

— Да Ивановой, кому! У них же полный огород всегда вызревает. Теперь, говорю, куда она нам?

— Я уж и сама как пятнадцать банок вчера закрутила.

— Варенья?

— Куда варенья, компоту! На варенье я попозже ее снимаю. Вот как Ванька соберется, машину починит, вот поедет с ним уже и на варенье собирать. В этом году ж ее как много.

— А я ей и чего! Куда она нам теперь? У всех вон какая, аж от солнца трескается. Девать некуда. Я-то бабка старая, куда мне столько, разве что внукам. А все равно вон уже полведра сгнило. Сахар, его же еще сколько надо.

— И... допрешь его! Я сама вон по килограммчику ношу, да так вот и чего....

— Мне ее и не надо. Кому она теперь.

— У-у-у, бля, — завершала молчавшая весь разговор третья — баба Ваня, и прижимала к себе беленького собаченыша с кривыми ушами. А тот трясся у бабы Вани на грудях, и нижний клычок торчал из-под губы.

И продолжалось, продолжалось, что уж вот и потихонечку, и на старые кости, да все ведь для внуков в Москву, так оно и ничего, да успеется, да зимой зато...

* * *

В маленькой комнате теперь что осталось от прошлого, того, где был Родченко? Насмешка квартиры. Живых людей помнят лишь соседи — двое стариков и мы — еще новые жильцы. Вот все они — пятнадцать лет матери, а мы до сих пор новые жильцы. И никаких пятнадцати уже нет. Старики мудрее нас.

Только тела и предметы остаются в комнате глухим чугуном изваянием. Поднимешь старенькую закаточную машинку из ящика — и она тихонечко зазвенит по железной пустоте. А еще старая раковина, списанный стол из управления. Даже в раскладушках уже ничего, кроме монотонной пустоты и отсутствия. Я пытаю комнаты: Родченко, Родченко, но в ответ лишь эхо фамилии и пустого круглого звука. Если я когда-нибудь попаду в ногу чугунной ванны, раскладушки дадут свое трезвучие и уже совсем про другого «Родченко» будут вспоминать следующие пятнадцать лет новые жильцы. Тем и будут живы. А я пока лишь пытаюсь растянуть сужающуюся минуту, но уже потерял всякую надежду сделать из одной хотя бы две.

* * *

Отец собрал скомканную авоську. Туго завинченный термос, в мятой газете кулич и бутерброды в скользком пакете. Мы на шоссе. Комната способна сокращать не только время. И не всегда от нее дождешься подарка, редкого пришедшего воспоминания. Здесь у нас дача. Здесь была прошлая жизнь. Здесь жили мои родители, здесь пытался и маленький я.

Теперь висит бумага — дача продается. Город знает, шестнадцатого года не будет, должен быть первый год. И старые друзья родителей уже готовят его для своей дочери и ее маленького. Маленького, как я пятнадцать лет тому назад.

Шоссе. Хрусткий, латанный лужами гудрона асфальт. В нем есть от выслужившей спецовки, — линолеум, посыпанный по сторонам той же сухой травой. Желтые головы вызревшего на солнце зверобоя. Бобылки шелушащегося чертополоха — ветхого кочевника — от столба к столбу, к ножкам старенького телевизора. С пашни поднялась пыль тупоносых гра-

чей. Кувыркаясь в одном большом луче прозрачной лампочки, протекая по мокрому миру над поворотом шоссе, следуя потоку воздуха или сквозняку между прелой от огурцов кухней и комнатой. Черные бисерины перца в желтом рассоле. Шоссе — комната — таз — банка. И снова неутомимая лампочка, только без старого абажура, когда дед обернул проводок газетным листом, и в комнате надолго зазвучала «Правда». А еще Ленин и ордена.

Отец говорит, что солнце, в сущности, лишь точка и сфера. Его так учили. Шоссе и поля — плоскости, а стая — закономерна, и он может высчитать их полет и падение той дыры, севшей на оголенный провод и замкнувшей цепь. Раскрытые ветром безвольные крылья поддадутся расчетам, и он повторит этот опыт. Дохлая ворона снова упадет под густой шар чертополоха. Будет падать, а отец скажет — как. Да, сначала левое крыло, а потом — правое. Все будет просто телом, падающим. Будет вес, будет скорость. Отец держит небо. Дает порядок вещам. Вся эта степь сошла с его чертежей. Оттого новая колючая былка вырастет из пучка полусгнивших перьев, а белая в зеленый кубик рубашка еще долго будет идти за миражом над шоссе.

Оглянуться или идти назад. Сзади поле и глубокий гудок локомотива. Там где-то наш пятиэтажный городок, у станции.

Ветер с пустоты полей размазывает по горизонту старые брюки отца и держит их натянутым флагом. Отец, как-то в себя глядя, ждет из-за поворота свой старый автобус — овальный и оранжевый. Он остановится, подберет отца и увезет его на шахту.

Мы не сбавляем шаг, но там, у обочины, все еще стоит сутуловатый человек в отглаженных брюках... или идти назад.

Горизонтالي и вертикали старой шахты. Каждая была вычерчена и пройдена до конца. Каждой был дан яркий тупик, и дальше было совсем нельзя. Отцу оставалось только смотреть на полные клетки белых оскалов и ярких глаз.

Они уходили под землю, а отец стоял в спецовке, измазанный угольной пылью. Лениво болтался на плече самоспасатель, луч фонаря напоминал о вечном рое пыли. Отец стоял и думал: что же он все-таки сделал такое? Что построил для этих людей? И правильно ли? Кому нужен этот второсортный уголь? Почему здесь должен быть тупик и кто это определил?

Проходческий щит ломал породу и тяжело шел вперед. Шахтеры вывозили полные ваго-

нетки, а щит продолжал вгрызаться в бесконечный и бесконечный уголь. Отец не верил чертежам. Особенно тем, которые делались где-нибудь там — в управлениях. А своих он боялся. Щит в непроглядной темноте будто ищет себя самого. И отец шел за ним.

Щит замер, от автобуса осталась только большая полая раковина, а слизень с длинными рожками засох.

Больше отца никто не заберет с шоссе. Теперь он сам волен выбирать себе дорогу. Быть может, оттого мы ни разу и не меняли маршрут, даже там, где можно было срезать. Допустим, вон там, через новый поселок. Мимо коттеджей. Там рядом брод и уже наша гора с дачами. Только мимо Борзуна, и там еще...

* * *

Шахтеру Борзуну дали много денег. Он был болен лучевой болезнью. Работал в Чернобыле. Тогда он начал строить дом. Свой дом. С огородами и парниками. Уже зеленел квадрат картофельной ботвы, жаркие капли стекали с клеенок теплицы и падали на вздутые полузрелые помидоры. Люди приходили в гости посмотреть на Борзуну. А чаще специально шли мимо — подглядеть. Он ни за что не хотел себя пожалеть, как это делал кое-кто из его бывших товарищей.

Те сидели у пивнушки и ссорились, один из них показывал всем дрожащую руку и орал:

— Вот этими самыми руками... А он?!

А он заливал куб фундамента вязким раствором и перевозил в тележке гладкие кирпичи.

Через четыре года у пивнушки поубавилось, а кое-кого даже посадили за ворованные борзунские кирпичи.

— Василича, сволочь, посади-и-и-л! Кирпича жалко паскуде! Ы-хых! — закашливался кто-то в темноте БАРа — бывшей пивнушки.

— Мое! И никому не отдам! — кричал на суде Борзун, и все это слышали.

А еще через год над картофельной степью стоял пятиэтажный гладкобокий великан с дырами окон, без рам и стекла. Жена не вытерпела и устроила Борзуну скандал.

— Построил себе, все деньги в него вбухал! Какие сыновья? Они все в Москве давно!

Не получилось отмахнуться Борзуну сразу.

— Куда они вернуться?! Зачем мне такой! Да я зайти в него боюсь! Как в могилу! Построил себе мавзолей! Живи в нем один! Ведь знал же, ни света, ни газа, ни воды! Зачем он тебе нужен был! Все деньги спустил!

Он сдержался. На глупости еще отвечать.

— Да ты на себя посмотри! А подыхать на что будешь?!

Говорят, Борзун тогда в первый раз ударил свою жену. Через неделю после скандала чернобылец Борзун умер. Он выпал из окна своего дома. Совсем у чердака. Вместе с куском свежей рамы и рубанком в руке. Его нашла жена. Она до сих пор не верит врачам. Все у них «сердце». Младший сын хотел забрать ее к себе, но она отказалась. Ухаживать за могилой.

Теперь нет и жены. Сыновей в городе с ее похорон не видели. Только дом Борзуна, холодный, страшный и злой навис над степью, шоссе и всеми дачами на том берегу Венёвки.

Может быть, все это было совсем не так. Я не знаю. Мать всегда рассказывает. Но сейчас уехала. А откуда ей все это известно.

* * *

Венёвка совсем мелкая и тощая. И так всю свою жизнь ужиком в самых ногах дачной горы. Снова спустили после дождей. Третий год уже как не чинят паром. Край железного бака торчит из-под воды у самого берега. Еле держится на побуревших пухлых кольцах, зажавших тяжелый металлический трос, — от ивы до кривого полого столба на высоком берегу. Держится из последних сил и не хочет затонуть. Упрямым до паранойи «вопреки», а может быть, самым здоровым «хрен вам!».

Последняя искорка натруженного о трос железа затухает в ободах колец. Разве вспыхнет от закатного луча, но и он тлеет не долго.

Дачная гора доживает. Соты домишек, заметные с шоссе уже только бесконечный кривой забор из серых, в дырках от сучков досок. Забор устал сам от себя, жалок и бит. Разве не дает сползти в реку.

Вот двухметровые сосновые доски в узорах короёда — это Валентиновы, а это сетка на железных столбиках и теплица с выбитыми стеклами — Труновы, а на самой горе — Кум и Кислицкий, они вдвоем всё ходили к дяде Гене. Но тот клал ладонь на впалую поседевшую грудь и говорил им: не могу я больше, мужики.

Тогда обиженный Кислицкий заводил свой хриплый «Урал» и вез Кума на другой конец, к Ивличеву. У того на самом отшибе в старом вагончике всегда топилась печурка-самоделка. На ней жарили дрянь с баночной килькой и утром варили в кастрюле чай.

Вот он — Кум. До сих пор как свежая сидит белая штукатурка на плотном кирпиче, на раме не облупилась краска, только кое-где сполз де-

фицитный шифер с четырехскатной, как стог, крыши. У чердачного оконца прибита высокая худая жердь со скворечником. Чуть нагнулась в небе, над всей горой, как наседка. Все ищет где-то между лапами своего цыпленка, топчется на месте, кудаччет и не может найти.

А рядом маленький Кислицкий — двускатная коробочка из бетонных блоков с промазанными щелями — крестики-нолики. Низенько в нестриженных, хитрых вишнях. В том году еще были занавески с кружевными краями. И кружево — как пепельный грибок на стволах. И весь участок сквозь паутину веток, и все теперь в этом пепле.

* * *

И все же вляпался в «Викторию»! Дядя Гена еще не заметил нас. Не заметил клубничного кустика. Он идет с ведром к общему баку с водой. Мы тихонько поднялись на участок. Отец сразу притянул к себе веточку прикалиточной сливы. Ствол весь в трещинах, смола забурела вонючим киселем. Только на одном черенке свежая прозрачная капелька, стянувшая на себя все солнца и отражения неба. Сразу от нее — зелено-сизая мякоть раннего плода.

Отец подержал сливу на ладони, мягко сдержнул ее с черенка. Протер дымчатый бочок до спелого глянца и, высоко подняв подбородок, положил в рот.

* * *

Маленький дядя Гена тащит из бака ведро и опрокидывает его воду в лейку. Снова чешет впалую заросшую грудь, которая у него как раз между пуговиц и дырочек расстегнутой дачной рубашки. Бывшей выходной или парадной. Сейчас залитая водой и с земляной пятерней на крупе. Вставал от грядок — прострелило.

На все «не могу» тети Гали он только усерднее гнется и роется в земле. Пусть и сам от земли еле до бака и лейки. Пусть перед этим полдня долбит отбоем второсортный уголь. Он силен в том, что никогда не задался — почему и зачем. А просто так все устроено. И пока не кончатся силы, не вырастут внуки и не вернется сын, домой с войны. Он сядет в молодой морковке и будет продергивать, лишнее, до правдивых линий, по которым хоть определяй стороны света.

Он знает, тяжелый брус его дачи прогнул и провалился. В доме на каждый шаг только дырка в мышинный подпол, где пасется мышь или корова. Мычит, стучится рогами о стены земля-

ного колодца. Месит копытами залежи семенной синеглазки и скребется, пищит в гнилой мешковине. Но смириться можно и с ее правом на бытие. Забыть себя, а помнить про сына, внуков и зиму, которая еще будет. Будет, даже не здесь, а там — далеко на войне. Которая будет до тех пор, пока не кончатся силы, пока не вырастут внуки.

А пока подвяжись гнилым ремнем из коззама, подверни свои брюки, найди сапоги. И поверь в то, что с каждой толстомордой морковкой и опухшей от вишен компотной банкой... А лучше заткнись, вставай задницей кверху и на час избавься от себя самого.

Если тебе повезет, дядя Гена, так и замрешь, уткнувшись рылом в ботву. С благородной пометкой «сердце», и с морковным пучком между пальцами. Будешь памятником и памяткой. А тебя, между прочим, звали.

Дядя Гена не видит, перекосившись, волочит за собой жестяную лейку.

Видит и слышит на все огороды Качановна. Выползает золотыми зубами из своей калитки напротив. И все здравствуйте да здравствуйте!

— Здравствуйтесь, Катерина Александровна!

Снова отец. Он один называет по имени полностью. С приездом, и полузрелый парной помидор из теплицы, и огурцов парочку грунтовых, в колючках, с желтой звездочкой на попке. А Яша поехал за навозом. Бодрый такой дед с наколотой гирляндой от плеча до плеча.

* * *

Качановна ведет нас пить квас. Упрашивает и тацит. Собственный, домашний. Мы сидим в холодке, перед верандой. На солнечную сторону нельзя, чтобы не смущать выкопанный с нашего участка махровый пион. Наверное, как раз перед майскими праздниками. Он теперь там, совсем у скамейки, сразу за розами. Там и дверца в подвал, где гремит Яшин хлам.

Вот выходит с кувшином кваса, режет половинку бородинского. Смотрят добрые глаза пожилой хозяйки. Угощайтесь, угощайтесь.

— Кум ведь уже совсем совесть потерял! Растет вот слива. Сортовая, скороспелая. В каком году ее Яша сажал? У нее ветки уже какие! И на его огород! Нужна ему эта дача! Который год уже даже картошки не сажает! Приехал тут к ночи. Яша уже в багажник вишню поставил, спускается за клубникой, а я лук решила к столу пока. Так он же и вот, у крыльца. Что я там увижу? А этот стоит у себя, как ждет чего! Думаю, все своего дружка, Кислицкого этого, до-

жидается. Вот, в том году чуть дачу ему вместе не спалили. Ждет он его. Берем мы лук с Яшей, ну и домой. А утром приходим, так с его стороны вся наша слива, представляете, всю оборвал! Паразит какой! И нет его уже. Умотал! Бога на него нет!

Нам снова подлит квас. В блюбочке с отбитым краем лоснится несколько клубничек и пара спасшихся скороспелых слив.

— Никто уже своим трудом жить не хочет! Все бы у бедной бабки сорвать! А вишни в этом году тоже у вас сколько. Таня варенье варит?

В березовую посадку на самой вершине холма вламываются старые красные «Жигули». Яша спускается с ведрами душистого навоза и чинно приветствует отца. Сосед. А как же.

* * *

Наш домик устал ждать. Уходит в землю горы. Его тянет, как в омут, тяжелый фундамент. Привязанный к шее камень. Затягивает в воду рыску жирного нестриженного газона. Дерновина скрепит по утрам. Доски совсем поползли. Их привез сюда дед.

Эти ящики для мотоциклов и велосипедов. Стали домом. Новый ящик, коробка, с верандой и чердаком.

Когда мы уходим домой, в середину маленькой комнатки выносят старые пальто наш белый столик. Сына деда. И ставят табуретки. На фанеру пола. Две для пальто, одну для старой шубы.

На столе зажигают фитиль извернувшейся, стекшей в тесную банку свечки. Там она на виду у всех, голая, через прозрачное стекло с бумажкой — джем. Ломается раненым червяком. Свищается в кольца. Горит.

Ставят пыльные чашки, и наш самовар наливают водой. Чай, в него идут спички, зазубренный ножик, пакетик семян редиски, головка чеснока и местная газета за прошлый год с мышиным пометом и пластырем. Все содержимое нашего стола. Мешают чай скриплыми ножницами с остатками краски на кольцах. Читают московские газеты. Горстки мух и измятые бабочки оживят подоконники. По комнате бегают белая детская маечка и боится заглянуть за занавеску. Там в темной кладовке инструменты, банки для полива и острый топор. Шуба всем разливают чай. Слегка запотевают стекла.

Приходят воры, забирают медные карнизы. По полу разлетаются прищепки на кольцах. От старых штор. На одну неторопливо наползает загустевший ночной луч. Она отдает комнате

искорку. И луч уходит. Древняя амеба. Не разбирая пола, стен и потолка.

А шуба наливает всем вторые чашки. В облаке горячей свечи проходят тертые рукава. В придонной мути Венёвки скользят, выпучив глаза, невесомые алюминиевые ложки. Прячется под краником чесночная голова.

Ответом висит на четвертой стене картина в белой деревянной рамке. С лодки, у берега, полочет старуха белье. Когда приезжает бабушка — все плачет над этой природой. Дело там вечно к осени.

Уходят воры. Спотыкаясь в темноте веранды о каменные кеды. И лодка пропала в квадратной дыре от ножа. Остался пейзаж, вросший в мох старый дом. И лишенный всякого места человек на мышинном полу.

Только шуба поправит фитиль, прислушавшись. И хрюкнет в углу семенной огурец, раздутый болезненной желтизной.

Приплывет из омута рыба. Всколыхнет невидимыми плавниками дерн. Или это ветер? Вокруг домика пойдут по траве круги. Сам он качнется, и петушки на крыше заходят из стороны в сторону на волнах. Рыба сверкнет на луну немигающим глазом, сомкнет тяжелые губы и уйдет на дно. К утру место затянется жирным клевером.

* * *

С веранды мы вынесли скамейку. У своего домика на перевернутом ведре сидит дядя Гена. Натягивает на колени парус семейных трусов и гоняет ладонью мошкарку. Рубашка рядом, колышется на черенке лопаты. Штык ее в земле.

Сегодня один. Склонился над белой дутой папиросой. В коричневых усах туман. Тихо тает тяжелым запахом и идет книзу. А длинные рукава колышутся от ветра и задевают верхушки картофельных кустов. Подкопал сегодня молоденькой.

— Гена, иди! — отец машет рукой.

Он скромно лезет сквозь свой молодой крыжовник. Теперь хоть от соседей не стыдно. Забор. Приносит своего хлеба. Мятный чай парит в большой кружке. Отец отрезает кулича с сахарной головой. А ты, Львович, Александр Львович, вот клубнику. Только сейчас вот. На свежее блюдечко опрокидывается ковшом ладонь дяди Гены. Там красная ягода в мелких крепких зернах. Они хрустят на зубах. Отец смотрит на половинку. Держит ее за черенок. Внутри за сочным откусом спелая сладкая пусота.

Теперь дядя Гена спокоен, он отпивает чаю и ест кулич с чистой совестью. Перед ним в земле дырка от махрового пиона. Дядя Гена устраивается на скамейке, сдувает с руки комара.

— Зыбкая здесь земля, Александр Львович.

Он еще хочет сказать, что и дома, под ногами, в родной квартире, у Гали, чудится ему не угольный пол шахты, а все этот участок. И эта земля. Связан он с ней на всю жизнь и дальше, а как — он понять совсем не может. Вот выкопал картошку, собрал, отвез домой — от этого и сыну его там легче. А земля все как течет у него под ногами.

Качановна вон жалуется, плохо все растет, все ей сада хочется. Чтобы всего. Будет — захлебнется бабка. А земля — она сквозь руки, и руки — земля. Вспахивать ее, вспахивать. Шесть соток положено. А им где конец? Хрен один — есть навоз, нет навоза. Земля. Главное вспахивать ее...

— Это как, зыбкая?

А сказать все это.

— И слова не подберешь, Александр Львович.

Дядя Гена расстроился. Хрюкнул чаем и затянулся в кашле.

* * *

Через дорогу, над кустами смородины кричит Качановна.

— Яша! Яша, давай!

В душном парнике, как в ангаре, раздувается белое тело кабачка-дирижабля, упирается боками в рейчатую крышу, подрагивает в тяжелом стремлении к полету. Скрипит толстой кожей.

— Я-ша! Ты где?!

На дальних грядках. Под стремящейся грушей. Белым хрустом отозвались упругие капустные головы и прогнули над горой небо.

— Яша! Етить твою!

Качановна разогнулась в конце картофельной грядки. В жестянку из-под кофе плюхнулась шестиногая полосатая зебра и погрузилась в мутные воды Нила. Над ней, прижавшей к груди свои копыта, бились и лягались такие же, как она, — зебры. Забирались друг другу на полосатую спину, кусались и пускали едкие слюни. Они потихоньку тонули. Стоило воде просочиться под мягкие крылья.

Зебра расправила ноги. Над ней еще блестел мутный светлый круг колодца, зебре хотелось смотреть на него дольше. Круг прогнулся серпом растущего полумесяца и совсем исчез в

темноте. И все воды Нила с копошащимися в них зебрами.

Качановна гнутой крышечкой заткнула банку.

— Яша! Яша, возьми жуков! Кинь в печку! — надрывалась Качановна.

Над кустами смородины слышались только удары по пустому ведру.

Вокруг снова было одичавшее поле и взвесь грачей над ним, где отвечал забывшийся голос.

— Иду-у-у!

* * *

Отец еще долго сидел на лавке с дядей Геней. Дядя Гена все говорил, но на каждом слове спотыкался и искал следующее, а там уже начинал совсем о другом. Все неумело и, казалось, впустую. Слова, слова, а ничего так до конца и не понято. А слов становилось все больше, и дядя Гена совсем терялся в них.

Отец пробовал ему отвечать. Но и у него теперь получалось все путано и неумело. Он чувствовал в словах дяди Гены то — нужное им обоим, ценное — одутловатую картофелину, там, глубоко, в перегное, который они пытались вместе разбросать. Его становилось все больше и больше. Получалось совсем странное.

Еще давно, вставая из-за стола, отец говорил нашей кошке: поела? Пойдем теперь — тело свое определим. Кошка смотрела на отца и слушалась. Сворачивалась у него на коленях. Он сидел в кресле и вздыхал.

Они говорили и говорили, а потом молчали, дойдя до маленькой устойчивой точки, на которой им можно было с трудом уместиться. И получалось у них на этой одинокой болотной лысине, что нет большей мудрости, чем сорвать кисточку красной смородины и положить ее в ведро.

А еще отец нашел пару корешков, тех самых, за которыми ездила когда-то мама далеко на болото. Они тоже лежали у нас в квартире на пыльных газетах, и по всему коридору стоял теплый запах перегноя. Или это показалось только. Или снова заявила о своих правах квартира?

Где на размытой потопом обоейной ёлочке в коридоре проступила кривая скамейка, пятно домика с лихими петухами на крыше и две фигуры за старым термосом и куличом.

В самом углу, у трубы, разводы потопа оставили кусты смородины и макушку стремящейся груши, но что было за ними — там обои уже успели содрать. Глуп и неприличен вопрос — кто и когда.

* * *

Отец притворяет калитку, спускает на сухую колею маленькие колесики сумчатой тележки. На ней теперь крепко сдавлен резиновым жгутом мешок с картошкой. Тележка такая маленькая, что оба колесика умещаются на большой колее. В трещинах и дуплах муравейников.

Снизу, от реки, в бузине надрывно стонет мотор водовоза, хрустит внутренностями и лезет наверх, к посадке. Ветки от заросших соток закрыли вершины берез. Разве кусочек неба колышется у самого выпела. Мелькнуло красное пятно «Жигулей» с холма, и все заволокло.

На бузине оседает взъерошенная дорога, и где-то у самого верха колышется еще сухой пыльный ком. Покатая цистерна взгромоздилась на гору и свернула в сторону колхоза.

Дорога унялась. Еле живой подорожник отряхнул свои лопушки, из дырки под жестким листом появился муравей.

Отец, тяжело упираясь ногами, шел вверх и был совсем у поворота.

За посадкой, там, между голых стволов. Между бледных ростков прошлогодней синеглазки. Из сырого подвала, где не найти низких труб, голодных котов и дверушек с висячими замками. Все они смешались до колкой темноты в глазах.

Темноту щупает бледным отростком мягкий и сморщенный клубень. И ищет зеленоватым носиком луч из кошачьего оконца. Натывается на оплеуху желтой шахтерской лампы.

Истерично, из последних сил уткнулись в небо стволы. Даже шевелящиеся макушки не достают выгнутого купола. Луч закатного солнца, налившегося боками, дрожащего от собственной тяжести. Упадет и закатится в грядки. Никогда не достать.

Хрустнет зимой в мороз тощий упрямый ствол. Лопнет, и со скрипом войдет в снег. Расстрескавшийся, сквозь кусты пейзаж, найдет в себе бледный комочек света. Он продержится час или два, где свежий высокий пенёк.

За посадкой, там, между голых стволов — голое поле.

* * *

Солнце село. Отец уже у самой окраины. Видно монастырскую колокольню, в старом городе. Чахлый серый скелет, открытый каждому ветру широкими пролетами этажей-арок. На ней еще долго будет гореть позолоченное ябло-

ко. На острой макушке. В небе, совсем в небе. В бликах потеряется тонкий крест.

Вот и дядя Толя. Его мята который год сползает с грядок и тянется за заборами, падает в ноги душистыми семенами. Макушки мягко задевают штанину и левое колесико тележки. Кончился Ивличев. Отец еще задумался, успеет созреть этот его подсолнух. Высоко над забором. Как последний семафор, вечно дающий свой странный неопределимый сигнал.

* * *

На станции заревел дизель.

— На десять часов, к бабушке поехал! — говорит отец — давай-ка поспешим!

Он ставит к порогу старую тележку. В сумке пила и мотки проволоки. Чинить забор. Отец уверен, он кому-то еще будет нужен.

Я сижу над шнурками. На маленьком детском стульчике неудобно. Пусть со спинки и улыбается веселый мишка в сарафане.

Отец что-то ищет в кладовке. Старый веник тычется в пол оголодавшими хворостинами.

— Ну все, пошли на улицу!

На обоях давным-давно село солнце. Лампочка в коридоре врет, светит отраженным светом и разбухает до удалой антоновки.

Ты ли это, отец?

Что ж, тогда пошли. Вот сумка с куличом, термосом и колбасой.

Только выйдем ли мы хотя бы за порог.